

## СЮЖЕТЫ И ЛИЦА

## К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА



Снимок 1918 года

## ПЛАЧ ПО СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

«Расскажу, как» текла былая наша жизнь, что былой не была... Не стала былой и та жизнь, какую Есенин Сергей прожил, радуясь и мучаясь, заодно с Ключевым. «Ладожским дьячком» — Ключевым. «Олонецким знахарем», хорошо знающим деревню, — Ключевым. «Апостолом нежным» — Ключевым. «Рисовальщиком словесной мертвенности», русским Бердслеем — Ключевым. Не было промеж них просто дружбы. Или только вражды. Была близость-распря, но она-то в итоге оказалась прочнее и органичнее, чем иные, многие, есенинские приязни.

До свиданья, друг мой, до свиданья... Очевидно, что В. Эрлих, которому в канун Ухода Есенин вручил Прощание с другом, — и. о. адресата, доверенное лицо, временный держатель. Но кому же все-таки предназначено Послание и смерть? Уж не Ключеву ли? Вчитаемся в читаную-перечитанную, да, кажется, так и не прочитанную хронику предсмертных, с пропиской в «Англетере», четырех дней Есенина.

Пятница. День второй. Проснувшись на рассвете, Сергей Александрович потребовал, чтобы Эрлих, заночевавший в гостинице (в последние годы Есенин панически боялся ночного одиночества), немедленно вез его к Николаю Ключеву. С тем же и в соседний номер, к чете Устиновых, кинулся, к «тетке Лизе» и «Жоржу»: Ключев, дескать, Учитель, был и остался наставником, и он, Есенин, не может Николая не видеть, его одного, мол, любит. Еле-еле уговорили дожидаться приличного для визита часа. Выехали вместе с Эрлихом около девяти. Не зная номера дома, полпутали, но — разыскали; разбудили, подняли с постели и увезли с собой — в гостиницу. Есенин тут же стал читать свои последние, из ноябрьских журналов, стихи. Читал и не напечатанное. Отчитывался перед Учитель.

Ключев прослушанное не одобрил. Причем — язвительно: «Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России». Есенин от неожиданности помрачнел, но вскоре подчеркнуто развеселился (обиженный слегка, он тут же насканивал на обидчика, но ежели задавали всерьез, «затыкал душу» — чтобы в горе в пиру быть с веселым лицом...). Появилось пи-

во и даже немного вина, общество ожи-вилось. Ключев сидел молча и рано, в четвертом часу, ушел, пообещав к вечеру вернуться. Но не вернулся. Не пришел и в субботу. А утром в воскресенье (день четвертый) Есенин, вроде как шутку, разрезал руку, дабы написать кровью последнее дружеское письмо. Показав его издали и «тетке Лизе», и вошедшему вслед за ней Эрлиху, сунул с веселым лицом в карман эрлиховского пиджака — как в почтовый ящик бросил...

За отсутствием прямо названного адресата, на посланное до востребования откликнулись многие. Отозвался и Ключев. Я имею в виду не столько «Плач по Сергею Есенину», сколько и его первое (авторское) исполнение — на поминальном вечере в Ленинграде. Замечательное по выразительности описание этого действия оставила Ольга Форш в «Сумасшедшем корабле».

Ключев, вспоминает О. Форш, «вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель... Он разделил помина души на две части. В первой — его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну... и себе самому. Голосом, увелчивым до сладости... сказал он свое известие о том, как

*С Рязанских полей коловратовых  
Вдруг забрежжил коноплевый свет...*

...Еще под обаянием... песенной нежности были люди, как вдруг Ключев... подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним накопленным ядом, что сделалось жутко:

*...На том ли дворе,  
на большом рандуке,  
Под заклатою черной матицей,  
Молодой детинушка себя сразил...*

Жуть на этом не кончилась. Сделав еще оди — кошачий шаг к рампе, поминали их «стал говорить уже не свои, а стихи» поэта, ушедшего. Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микола говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля... Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, с пьяной икотой он кончил:

*Ты, Рассей моя... Рас-сея...  
Азиатская сторона!*

Окинув победно притихший от испуга зал, Ключев вышел в лекторскую и на недоуменный вопрос: «Как могли вы...» — объяснил, доигрывая не отыгранное на сцене:

«Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделся, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж все-го облепила... А уж если весь черный, так мудрому отойти. А то на меня самого чернота его перекинута может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь — плакал».

Совсем уж всерьез это свидетельство, кажется, принимать не следует. Но, думается, что-то неладное «пестун» все-таки почувствовал, недаром же вторым Распутиным — «за колдующую силу зрачков!» А если почувствовал, то как же рискнул сказать человеку, у которого ничего не осталось, кроме стихов, что стихи эти никуда не годятся? Да еще прилюдно? Есенин, при всех его «чужачествах», такого себе не позволял. С друзьями — да, с Ключевым — нет. Скажем, история с ключевским «Четвертым Римом». Иванову-Разумнику без всякой дипломатии сообщил: «Рим...» на меня отчаянное впечатление произвел. Безукусно и безграмотно до последней степени со стороны формы... «Сыр влюбленности» — да ведь это же... Мариенгоф и Шершеневич со своими «буртербродами любви». Ключеву о том же самом написал куда осторожнее: и правды не утаил, и самолюбие не задел, и в положение вытегорского сидельца вошел. За наивность в издательских делах долго журил, а про главное — слащаво и неуклюже — как о неважном, заметил, да тут же и облакал: «От многих других стихов... в восторге». А еще прежде

*...Замирающих строк бубенцы!  
Это последняя липа  
С песенным сладким дипломом;  
Знаю, что слышатся хрипы,  
Дрожь и тяжелые всхлипы  
Под милым когда-то пером!*

За каждой из выделенной мной фигуральностей — БУБЕНЦЫ, ЛИПА, ВСХЛИПЫ, ДРОЖЬ — прячется запятая на замок тайного (им лишь двоим — Учителю и Ученику понятного) смысла есенинская строка или даже куплет с тем же опорным образом: «Сегодня цветущая липа», «На этих липах не цветы», «Где ты, моя липа?», «Осыпаются липы», «И эту гробовую дрожь», «Звать любовью чувственную дрожь», «Зарыдали разливы бубенцы» и т. д. Иногда, правда, не часто, Ключев цитирует Есенина и более развернуто, в сразу узнаваемом виде, например:

Есенин:

*Лестница к саду твоему  
Без приступков.  
Как взйду, как поднимусь по ней  
С кровью на отпах и братьях?*

Ключев:

*Лидда с храмом белым,  
Страстотерпным телом,  
Не войти в тебя!  
С кровью на ланитах  
Сибнувших, убитых...*

Если не знать об этом поэтическом секрете, незнатен до темноты и финал «Погорельщины»:

*Цветик мой дитячий,  
Над тобой поплачет*

*Темень да трезор.  
Может, им под тыном  
И пахнет жасмином  
От Саронских гор!*

Но он проясняется, если угадать источники усеченных цитат: «цветик дитячий» — «цветок неповторимый» (Есенин, «Цветы мне говорят — прощай...», 1925), «пахнет жасмином» — «пахнет жасмином» (Есенин, «Анна Снегина», 1925). При таком расширительном раскладе «Погорельщины», — предвестник Глады и Людодея, то есть Знак Беды, об этом и кричит-кличет прилетевшая на пепелище кукушка...

*С земли на незримую сушу  
Отчалил и мне суждено.  
Я сам положу мою душу  
На это горящее дно.*

Примеры братской переклички (Ключев с Есениным) можно множить и множить. Приведу еще один — в самом жутком эпизоде «Погорельщины», эпизоде Великого Глады. О том, как оскалилось людоедство на сплошной недород у крестьян («Страна негодяев»), Есенин не успел написать. Да, видимо, и не смог бы написать. Ключев написал — использовал и «заявку на тему», и сюжетный ход из есенинской же «Песни о собаке». В «Погорельщине», как и в «Песни...», лик луны похож на убиенного дегенерата, только уже не собачьего, а человеческого. Озерев от голода, сивого зарезали, освежевали и засолили си-неглазого Васютку; подсобляла мужикам и старуха соседка (замывала кровь младенца), а как кончила приборку убойни — завывала лисицей:

*Ополночь бабкино страданье  
Взошло над бедною избой  
Васюткиною головой.*

Н. И. Толстой, написавший предисловие к «Погорельщине» («НМ», № 7, 1987), считает: основная тема поэмы — тема огня, опаляющего, но не испепеляюще-

го, а главный опорный символ — образ «Неопалимой купины, сакрального куста, горящего и не сгорающего...».

Сцена собственно пожара — «отменно знатной гари», испепеляющей и погост (селение), и церковь-купину, такому истолкованию не противоречит. Однако и поэма в целом, и год ее окончания — 1928-й оснований для столь оптимистического итога, по-моему, не дают. Да, Русь как идея жива (самоспаслась и от глады, и от полымия, и от нашествия сарацинского), жива и даже одета в плоть (Лидда-град). Но при этом недостижима и нематериальна, как мираж. В пору «Избавных песен» (до всего) по уставу ключевского Космостроя, праотцов дом надлежало хранить во глубине («Полощется в озере маковый свет, в пеганые глубины уходит столбом до сердца земного, где праотцов дом»). После всего и этот тайник кажется Ключеву ненадежным: а что если вставшие на четвереньки («мы на четвереньках, нам мычать да тренькать») слопают и сердце земное — как сожрали младенца Васютку? И Ключев находит более верное место: где-то, а где не знаем сами, в некотором царстве, в некоем государстве — на Индийском поморье, во Саронских горах...

Не подверстываются под предложенное Н. И. Толстым толкование — «поэма пожара России, но пламя в этом пожаре не уничтожающее, а очистительное», — и следующие за Отменно-Знатной Гарью эпизоды, ведь Большой Огонь, по композиционному раскладу «Погорельщины», — предвестник Глады и Людодея, то есть Знак Беды, об этом и кричит-кличет прилетевшая на пепелище кукушка...

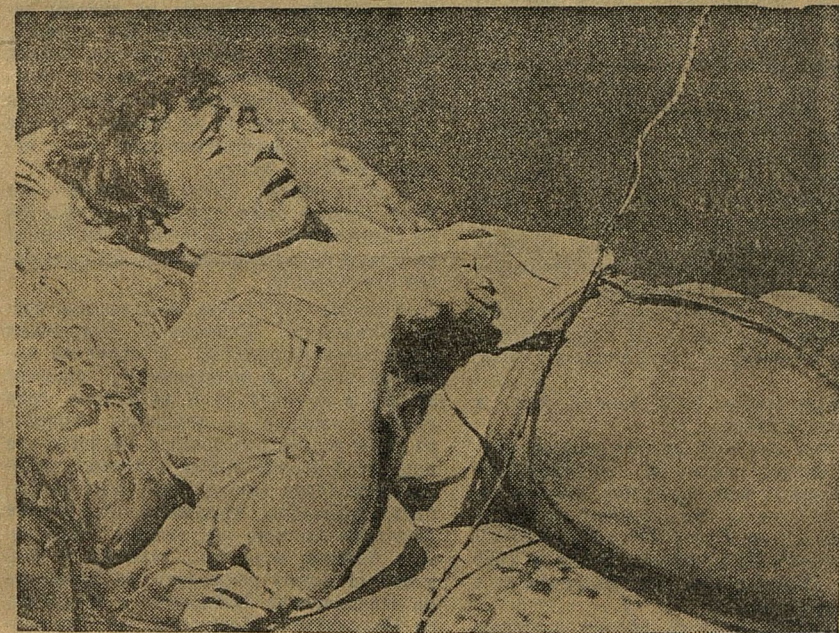
Больше того, и пепелище (погорельщина), и хмарое от гари хромое солнце, и

*Глухую хмарой от болот,  
По горенкам и повалушам  
Слонялся человекный сброд.*

Александра Есенина:

«А на следующее утро, когда ночная прохлада остудила раскаленную землю, с красными глазами от слез и едкого дыма, который еще просачивался из недогоревших и потрескивающих бревен, бродили по пожарищам измученные и похуевшие за одну ночь погорельцы, собирая оставшийся после пожара железный лом... Хозяйки разыскивали в стаде овец... собирали уцелевших и сразу одичавших кур».

Просто пожары не были редкостью в Константинове — слишком близко, притом стояли избы. Но гарь 1922-го была особой — выгорело 200 построек. Погорели и Есенины. Огонь стер с лица земли и дом детства поэта — с чистой горенкой и голубыми ставнями, и только что заложенный его отцом яблоневый сад. Уцелела лишь «повалуша» (амбарчик на задах) да одна-единственная яблонька. Как воспринял поэт известие о гибели старого Константинова, мы не знаем, знаем только, что, вернувшись из «парижской», долго — год — не появлялся на родине. Уж не жмурился ли и тут: чтобы не увидеть «хужее» — пустое место вместо всего, что было любимым? Есенин вообще, вопреки расхожим представлениям о нем, был скрытен, самое сокровенное держал при себе... Но один раз проговорился. Ин. Оксенов вспоминает, что в 1924 году в Ленинграде кто-то спросил поэта, бывает ли он в своей деревне, и Есенин ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под деревом, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией...». Под той самой единственной яб-



28 декабря 1925 года

одичавшие, ставшие человеком сбродом погорельцы, беспамятно бредущие по своим горенкам и повалушам (летним спаленкам), написанные с такой непосредственностью, так просто и так реалистично, что невольно приходит на ум: не отталкивается ли автор от какого-то реального, близкого сердцу переживания?

Сам Ключев, насколько мне известно, погорельщины не пережил, но он наверняка слышал — не мог не слышать — от кого-нибудь из родственников Есенина о константиновском пожаре в августе 1922 года (Сергей Александрович был в ту пору за границей). Во всяком случае описание утра после «отменно великой гари» в «Погорельщине» и соответствующий эпизод в воспоминаниях младшей сестры Есенина похожи чрезвычайно, и вряд ли это простое совпадение. Впрочем, судите сами,

Ключев:

*С зарей над гибнувшим погостом,  
Рыдая, солнышко взошло  
И по надгробью, по-над логом  
Олегом сивым, хромоногим  
Заковыляло на село.  
Несло валежником от суши,*

лонькой, что чудом уцелела в погорельщину, и эта малолетка, без единого яблоньки, — все, что осталось у Александра Никитовича от «вспухших надежд» лет, когда и он — заодно с деревенной Русью — старался жить: купил лошадей, заложил сад...

Трагедия, которая произошла с Есениным...

В 1926-м эти две трагедии в сознании автора «Плача по Сергею Есенину» явно не пересекались. Ключев, похоже, еще верит, что от «злого октября» можно спрятаться в «книжный угол».

К 1928-му (год завершения «Погорельщины») они не только пересеклись, но и увязались узлом слияния. И Ключев написал как бы новый плач по Сергею Есенину, спел его по-ключевски, но на есенинский лад и мотив, да так, что местами «до тонкой верности похоже на голос того»:

*За окном рябина,  
Словно мать без сына,  
Тянет рук сушь.  
И скулит трезором  
Мелница под забором —  
Темное зверье.*

Алла МАРЧЕНКО